



Она сообщила бы мне, если бы мать умерла. Это ведь ее обязанность?

Как-то вечером я позвонила матери. Это случилось весной, потому что днем ранее мы с Фредом гуляли по острову Бурёйя и было так тепло, что я перекусила, сидя на скамейке возле пролива Усесюнд. Из-за того звонка ночью я почти не спала и радовалась, что утром мне предстоит встретиться с Фредом. Я дрожала. Мне было стыдно, что я звонила матери. Нельзя было, и тем не менее я позвонила. Нарушила наложенный на меня запрет. Впрочем, отвечать она не стала. В трубке слышались короткие гудки, значит, вызов отклонили. Однако я звонила снова и снова. Зачем? Не знаю. Чего хотела этим добиться? Не знаю. И откуда этот цепенящий стыд?

К счастью, на следующий день мне предстояла прогулка с Фредом по Бурёйе, я отчаянно ждала ее, надо только поговорить с Фредом — и внутренний трепет утихнет. Я забрала его с вокзала, Фред сел ко мне в машину, и я рассказала о содеянном: я позвонила матери. Пока мы шли к парковке, пока гуляли по острову, я выворачивала себя перед Фредом, но ему вовсе

не казалось странным, что я звонила матери. «Помоему, нет ничего странного в том, что тебе хочется поговорить с матерью». Мне по-прежнему было стыдно, зато дрожать я перестала. «Мне же нечего ей сказать», — проговорила я. «Не знаю, что я сказала бы, сними она трубку», — сказала я. Может, я надеялась, что мне вдруг что-то придет в голову, если она ответит и в трубке послышится ее голос: «Алло».

Я сама заварила эту кашу. Почти три десятилетия назад я сама решила бросить мужа, семью, страну, хотя, если судить по ощущениям, выбора у меня не имелось. Я покинула мужа и семью ради мужчины, которого они считали сомнительным, и ради занятия, которое они находили отгалкивающим, выставляла картины, которые они полагали позорными, не приехала домой, когда отец заболел, не приехала, когда он умер, не явилась на отцовские похороны, как им еще к этому относиться? Они сочли это ужасным, я ужасна, их ужасал мой отъезд, я оскорбила их, не приехала на похороны отца, для меня ужасное произошло намного раньше. Они этого не понимали, а может, не желали признавать, мы не понимали друг дружку, и тем не менее я позвонила матери. Позвонила матери, хотя это непростительно. Разумеется, она не ответила. А я что думала? Чего ожидала? Что она снимет трубку, словно ничего непростительного в этом нет. Что я себе возомнила, что я имею хоть какое-то значение, что она обрадуется? В реальности все не так, как в Библии, когда

блудное дитя возвращается и в честь его устраивают пир. Меня мучил стыд за то, что я пошла наперекор себе и дала понять матери и Рут — а мать наверняка расскажет ей о моих звонках, — что не удержалась, в то время как они, моя мать и сестра, своего решения не изменили, им и в голову не приходило мне позвонить. Наверное, они поняли, что я вернулась. Скорее всего, время от времени они читают про меня новости в Интернете и давно выяснили, что готовится некая выставка-ретроспектива, что у меня появился норвежский номер мобильного — не зря же мать не взяла трубку. Они сильные и стоят на своем, а я слабая и инфантильная. Как ребенок. К тому же им и не хочется со мной разговаривать. Получается, это я хочу с матерью поговорить? Нет! Но я же звонила ей! Меня мучил стыд за то, что какая-то часть меня хотела с ней поговорить и что я, позвонив, показала матери, что хочу этого, что нуждаюсь в чем-то. В чем же? В прощении? Возможно, именно так ей и кажется. Но у меня просто не было выбора! Зачем же я звонила, чего добивалась? Не знаю! Мать и Рут полагали, будто позвонить меня заставило раскаяние, они надеялись, что я раскаиваюсь и мне плохо, что я тоскую по ним и хочу наладить отношения, однако мать трубку не снимает — что я себе возомнила, если я вернулась на родину и хочу общаться, они примут меня с распростертыми объятиями? Нет уж. Я сама это выбрала — и теперь меня ждет раскаяние. Вот только я не раскаивалась! Им казалось, будто у меня был выбор, и это раздражало меня, но

с раздражением легко смириться, по сравнению со стыдом раздражение — это ерунда. Откуда этот парализующий стыд? От разговоров с Фредом мне стало легче. Мы бродили вдоль берега по дорожкам, усыпанным шиферной крошкой, в море плавали утки и лебеди, на повороте возле Усесюнда я нашла мать-и-мачеху и сказала себе, что это к счастью. Дома я налила в стаканчик для яйца воды и поставила туда цветок, однако он скоро увял. Сейчас осень, первое сентября. Моя первая за тридцать лет осень в Норвегии.

Перед тем как позвонить, я выпила, немного, пару бокалов вина, но все же выпила, иначе не позвонила бы. Я нашла в справочнике номер и дрожащей рукой набрала его. Если бы я мыслила трезво, то не стала бы звонить. Если бы я заранее заставила себя трезво мыслить, представила наиболее возможные варианты развития событий в том случае, если мать ответит, я бы не позвонила, я бы поняла, что нам обоим ничего хорошего мой звонок не принесет. Звонки мои были неправдоподобными, нерациональными. Они остались без ответа. Мои мать и сестра мыслили трезво, а я нет, может, как раз этого я и стыжусь? Поразмысли я трезво — и поняла бы, что, даже если бы мать ответила, того, что называют разговором, не вышло бы. Наш с матерью разговор сделался невозможен. Однако я не задушила свой неразумный порыв, не мыслила разумно, решила поддаться этому на удивление сильному порыву. В каких же глубинах он зародился — вот что я пытаюсь выяснить.

Того, что называется разговором, между мной и матерью не было тридцать лет, а возможно, вообще никогда. Я познакомилась с Марком, тайком подала документы и поступила в институт в Юте, где он преподавал, уехала с ним за море, бросив мужа, семью, эти события уложились в одно-единственное жаркое лето. Верно говорят — взгляда бывает достаточно, одного взгляда, я светилась негасимым огнем, это воспринималось как предательство и издевка. Написав тогда длинное письмо, я объяснила, почему мне это необходимо, излила душу в письме, но в ответ получила короткую отписку, словно никакого моего письма и не было. Короткую категоричную отписку с угрозами, что меня отлучат от семьи, впрочем, если я опомнюсь и поскорей вернусь домой, меня, возможно, простят. Они писали так, словно я ребенок, которым они имеют право распоряжаться. Они перечисляли, чего им стоило — морально и материально — вырастить меня, поэтому и я им немало задолжала. Насколько я поняла, они и впрямь так считали, я у них в долгу. Они и впрямь считали, что я должна отречься



от своей любви и работы, потому что в детстве оплачивали мне занятия теннисом. Они не воспринимали меня всерьез, читали мое письмо с враждебностью, угрожали. Такую власть имели в свое время над ними их родители, в такую дрожь вгоняло их родительское слово, особенно написанное, что они думали, будто их собственные слова воздействуют на меня с такой же силой. Я написала новое письмо, где объяснила, насколько огромное значение имеет для меня обучение искусству и кто такой Марк, а они снова ответили так, словно моего письма не было или они не читали его: перечислили расходы, возникшие, когда они купили квартиру, чтобы во время учебы я жила поближе к университету, и когда я вступила в брак, который теперь своим незрелым поступком выставила на посмешище, предала свежеиспеченного супруга и унизила его родных. Надо мне срочно избавиться от мыслей, которыми этот М. заморочил мне голову. Искусству удастся прокормить лишь немногих счастливиц, и я к их числу не принадлежу, это очевидно. Это ранило меня, а еще их уверенность в том, что такие приемчики заставят меня отказаться от новой жизни, вернуться домой к моему долгу, приспособиться, хоть и искалечив себя, к их жизни. На их письмо я не ответила, а перед Рождеством послала поздравления, милое, ровное письмо, где рассказывала о городке, в котором мы жили, небольшом огорожке, в котором выращивали помидоры, о том, как в Юте меняются времена года, написала так, буд-

то бы и не было их предыдущего письма, поступила с ними так же, как они со мной, всем счастливого Рождества! В ответ я получила похожее письмо — короткое и ровное, с Новым годом! Время от времени я отправляла им программы выставок или открытку из путешествия, а когда родился Джон, я отправила им его фотографию. В ответ он тоже получил письмо: дорогой Джон, добро пожаловать в мир, с любовью, бабушка, дедушка, тетя Рут. Когда ему исполнился год, ему прислали серебряную кружку, с любовью, бабушка, на двухлетие он получил серебряную ложку, а в три года — вилку. В первые годы сестра изредка присылала мне короткие весточки о самочувствии родителей, только если случалось нечто особенное — одному удалили камни в почках, другой поскользнулся и упал на лед, никаких «дорогая», никаких вопросов, короткое предложение о том, как чувствуют себя мои родители, пока, Рут. Когда они были относительно здоровы, такое случалось редко. Подтекст был такой: она, бедняжка, вынуждена в одиночку ухаживать за ними, мне же, эгоистке, все они до лампочки. Мне казалось, будто она пишет с укором, но возможно, мне так казалось как раз оттого, что я действительно ощущала некий внутренний укор? В ответ я желала скорейшего выздоровления. Но после того как мои триптихи «Дитя и мать — 1» и «Дитя и мать — 2» были выставлены в их городе, моем родном городе, в одной из престижнейших галерей, куда устремились толпы посетителей и немало журналистов, я перестала по-

лучать и лаконичные послания от Рут, и поздравления с праздниками от матери. Окольными путями, от Мины, чья мать по-прежнему жила по соседству, я узнала, что они сочли мои картины возмутительными, порочащими семью, особенно мать. Они по-прежнему поздравляли Джона с днем рождения, но без прежней теплоты. Больше мы от них ничего не слышали. О том, как живут мои родители, я не знала, полагая, что их жизнь представляет собой череду привычных ритуалов — это свойственно обеспеченным старикам, что они по-прежнему живут в доме, куда переехали в бытность мою подростком, в более богатом районе, нежели тот, где располагался дом моего детства. Ничто не свидетельствовало об обратном. Продай они дом — и я узнала бы об этом, в отношении денег они отличались щепетильностью. Представить себе родителей в комнатах дома, где когда-то жила, было нетрудно, и тем не менее я не представляла. Четырнадцать лет назад, когда я работала в съемной мастерской в нью-йоркском Сохо, а Марк лежал в Пресвитерианской больнице, Рут прислала мне короткое сообщение: у отца инсульт, его госпитализировали. И ни слова больше. Приехать она меня не просила. В течение следующих трех недель она время от времени коротко информировала меня о самочувствии отца, иногда приправляя сообщения непонятной медицинской терминологией, ничего дружелюбного в ее словах я не видела. По-моему, ей не хотелось, чтобы я приезжала. Мое присутствие лишь нарушило бы

равновесие. За мной не закрепили никакой роли, поэтому я только добавила бы беспокойства, меня беспокоила сама мысль о такой поездке, поэтому я просто желала отцу скорейшего выздоровления. Двадцатого ноября она написала, что отец умер, неожиданное известие, оно тоже настигло меня в мастерской, когда Марк по-прежнему лежал в больнице. На похороны я не поехала и не собиралась. Они меня об этом тоже не просили, Рут написала, что похороны состоятся там-то и во столько-то, точка. На следующий день после похорон с ее телефона мне пришло сообщение, но его написали они обе, в нем было написано «мы» и подпись — мать и Рут. Прощальное письмо. Матери было невероятно тяжело оттого, что я не приехала к больному отцу, не приехала на его похороны, она от этого едва сама не умерла, так они написали, я в какой-то степени морально убила ее, насколько я помню, именно так они и выразились, того сообщения не сохранилось, я его тотчас же удалила, о чем сейчас сожалею — сегодня, в этот сентябрьский день, интересно было бы прожить, нет, то есть изучить его. Я сочла это знаком устраниться окончательно и следовать этому решению. Поздравлений с днем рождения Джон больше не получал.

Из категории «общаемся» мы перешли в категорию «враги», я так поняла, но на мне это никак не сказалось, я работала, заботилась о Марке и о Джоне. Дом продали, мать купила квартиру, мне присла-